# Слава

***И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто
 восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях,
 и сижу, и решить не могу: человек это
 или просто так — разговорчивый прах.
 Как проситель из наглых, гроза общежитий,
 как зловещий друг детства, как старший шпион
 (шепелявым таким шепотком: а скажите,
 что вы делали там-то?), как сон,
 как палач, как шпион, как друг детства зловещий,
 как в балканской новелле влиянье, как их,
 символистов — но хуже. Есть вещи, вещи,
 которые… даже… (Акакий Акакиевич
 любил, если помните, «плевелы речи»,
 и он, как Наречье, мой гость восковой),
 и сердце просится, и сердце мечется,
 и я не могу. А его разговор
 так и катится острою осыпью под гору,
 и картавое, кроткое слушать должно
 и заслушиваться господина бодрого,
 оттого что без слов и без славы оно.
 Как пародия совести в драме бездарной,
 как палач, и озноб, и последний рассвет —
 о, волна, поднимись, тишина благодарна
 и за эту трехсложную музыку. Нет,
 не могу языку заказать эти звуки,
 ибо гость говорит, и так веско,
 господа, и так весело, и на гадюке
 то панама, то шлем, то фуражка, то феска:
 иллюстрации разных существенных доводов,
 головные уборы, как мысли вовне;
 или, может быть — было бы здорово,
 если б этим шутник указывал мне,
 что я страны менял, как фальшивые деньги,
 торопясь и боясь оглянуться назад,
 как раздваивающееся привиденье,
 как свеча меж зеркал, уплывая в закат.
 Далеко от лугов, где ребенком я плакал,
 упустив аполлона, и дальше еще
 до еловой аллеи с полосками мрака,
 меж которыми полдень сквозил горячо.
 Но воздушным мостом мое слово изогнуто
 через мир, и чредой спицевидных теней
 без конца по нему прохожу я инкогнито
 в полыхающий сумрак отчизны моей.
 Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
 головой, в изумрудных перчатках, в чулках
 из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
 и остановитесь на этих строках.
 Обращение к несуществующим: кстати,
 он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
 и, лишенные самой простой благодати
 (дохожденья до глаз, до локтей, до висков),
 «твои бедные книги,» сказал он развязно,
 «безнадежно растают в изгнанье. Увы,
 эти триста листов беллетристики праздной
 разлетятся — но у настоящей листвы
 есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
 есть тропа вся в лиловой кленовой крови,
 есть порог, где слоятся тузы золотые,
 есть канавы — а бедные книги твои,
 без земли, без тропы, без канав, без порога,
 опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
 как базарный факир, то есть не без подлога,
 и недолго ей в дымчатом воздухе цвесть.
 Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
 в захолустии русском, при лампе, в пальто,
 среди гильз папиросных, каких-то опилок
 и других озаренных неясностей, кто
 на столе развернет образец твоей прозы,
 зачитается ею под шум дождевой,
 набегающий шум заоконной березы,
 поднимающей книгу на уровень свой?
 Нет, никто никогда на просторе великом
 ни одной не помянет страницы твоей:
 ныне дикий пребудет в неведенье диком,
 друг степей для тебя не забудет степей.
 В длинном стихотворении «Слава» писателя,
 так сказать, занимает проблема, гнетет
 мысль о контакте с сознаньем читателя.
 К сожаленью, и это навек пропадет.
 Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
 до конца, до небес доскрестись: никогда,
 никогда не мелькнет мое имя — иль разве
 (как в трагических тучах мелькает звезда)
 в специальном труде, в примечаньи к названью
 эмигрантского кладбища и наравне
 с именами собратьев по правописанью,
 обстоятельством места навязанных мне.
 Повторил? А случалось еще, ты пописывал
 не без блеска на вовсе чужом языке,
 и припомни особенный привкус анисовый
 тех потуг, те метанья в словесной тоске.
 И виденье: на родине. Мастер. Надменность.
 Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой
 перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность
 европейская. Дача в Алуште. Герой».

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
 мой любимый слетает анапест,
 образуя ракеты в ночи, так быстра
 золотая становится запись.
 И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
 сонных мыслей и умыслов сводня,
 не затронула самого тайного. Я
 удивительно счастлив сегодня.
 Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
 а точнее сказать я не вправе.
 Оттого так смешна мне пустая мечта
 о читателе, теле и славе.
 Я без тела разросся, без отзвука жив,
 и со мной моя тайна всечасно.
 Что мне тление книг, если даже разрыв
 между мной и отчизною — частность?
 Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
 но под звезды я буквы подставил
 и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
 а точнее сказать я не вправе.
 Не доверясь соблазнам дороги большой
 или снам, освященным веками,
 остаюсь я безбожником с вольной душой
 в этом мире, кишащем богами.
 Но однажды, пласты разуменья дробя,
 углубляясь в свое ключевое,
 я увидел, как в зеркале, мир и себя
 и другое, другое, другое.***